

Внимание: в романе присутствует тема
сексуализированного насилия над детьми.

Если вы или ваши близкие стали жертвой насилия,
мы рекомендуем обратиться за психологической помощью
к специалистам и в органы правопорядка.

Вот список организаций, которые могут помочь:

Проект «Тебе поверят».

<https://verimtebe.ru/>

Центр «Сестры»

<https://sisters-help.ru/>

Горячая линия Следственного комитета

«Ребенок в опасности»

8 (800) 200-19-10

Соне и всем ее бешеным собакам

Мой принц, безумцы правду знают;
Что жизнь похитит, смерть вернет;
Предателей не выбирают;
А крик слышнее в Рождество.

Франсуа Вийон, «Баллада пословиц»

ΠΡΟΛΟΓ

ТО, ЧЕГО НЕ ВИДЯТ

Он крепко-крепко смыкал ресницы, чтобы не защепа-ло в глазах, и думал о чистой рубашке, что поутру оста-вила на кровати матушка. Стоять согнувшись уже устал, но не нюнил, не ерзал, терпел: вода лилась нежнее парного молока, пахла мыльной розовой негой, а сестрица щадила волосы — ни пряди еще не дернули ловкие пальцы, ни ку-сочка кожи не оцарапали ногти. Будто не моет, а гладит; будто не с головой дело имеет, а с каким сокровищем. Ста-рается. Разве можно тут роптать и рюмиться?

Сестрица напевала «Шарф голубой», снова и снова — мо-жет, сетовала, а может, просто занимала скучающие мысли, пока руки прядут влажный шелк чужих волос. Он слушал. Ему нравился сестрицын голос-колокольчик, какими бы простыми словами он ни звенел. Ему нравилось, что она вот так, рядом, и только для него поет тоненьким, почти заговорщицким полупшепотом:

В Москве проживала блондинка,
На Сретенке, в доме шестом,
Была хороша как картинка,
И нежная очень притом...*

Лилась и лилась вода в кружеве пены, падала и падала в лунно-оловянную глубь старого таза; легчала и легчала голова. Ему всегда верилось: мытье — вроде цыганской ворожбы; наверное, оно хорошо не только от грязи, но и от всякой там порчи. Неспроста недобрые люди плохо пахнут и обходят сторонкой баню. Неспроста мыло — душистые, точно сваренные из чистых цветочно-овощных запахов «шаромы» и «огурцы»**, — такое дорогое. Неспроста омывают покойников, прежде чем укутать в саван. И неспроста мыться он сегодня будет дважды: еще вечером, тоже в парной воде. Наверное. Если, конечно, выйдет, — как он подумал, едва увидев белую, хрусткую от чистоты, отороченную кружевом рубашку в матушкиных дрожащих руках.

*«Тебе бы волосики помыть... и вот это тебе на потом.
Новая...»*

Ах! Крутится, вертится шарф голубой,
Крутится, вертится над головой,

* Утраченные куплеты хорошо известного романа «Шар голубой», которые приводит в статье, посвященной романсу, Юрий Бирюков. Журнал «Родина», № 8, 2006. — Здесь и далее примечания автора.

** В конце XIX века французский парфюмер Брокер открыл в Москве мыльные лавки и производства. Одна из самых популярных и дорогих вариаций мыла действительно напоминала по форме огурец и пахла им же. Мыло «Шаром» было круглым.

Крутится, вертится, хочет упасть.

Кавалер барышню хочет украсть.

Больше всего ему нравилось сестрицыно «Ах!», от которого розовый рот округлялся и оживлялся улыбкой, и нравилось еще воображать, как он вырастет — и купит ей шарф из лучшей кисеи. Будет этот шарф нежным, как мыльная пена, и легким, чтоб взаправду концы от ветра летали, и красивым — может, даже с тонкой серебристой отделкой. Хорошая ведь сестрица, заслуживает десяти шарфов. Вот, возится с ним... а он и рад, правда, еще вспоминает давнее: как с матушкой они омывали папеньку. Папеньке сестрица тоже тогда мыла волосы, желтоватые и жидкие, и так же бережно, и потом расчесывала. Разве что с губ ее слетали другие слова — тихое, заунывное Трисвятое, перемежавшееся всхлипами. Но много с того дня прошло, почему вдруг ожило в памяти?

Он все-таки мотнул слегка головой, надеясь, что забудется. И исчезли из памяти темная квартира, где давно живет другая семья; и жалкая лампа, умирающая вслед за папенькой; и мыльный запах — иной, дегтярный. Раздалось над ухом ласковое: «Скоро, скоро уже все, потерпи, светик». Он впился в край таза крепче и открыл глаза. Их защищало, но он даже не смаргивал слез. Задвоились, задрожали пенные кружева, и очень захотелось сунуть в воду руку, взбаламутить их со всей силы, порвать в клочья. Но пора было распрямляться, а кружева медленно таяли сами, оставляя лишь белую муть.

— Таких прехорошеньких ручек, — запела сестрица, уже аккуратно вытирая ему голову кусачим полотенцем, —

не видел на свете никто. Ходил к ней кудрявый поручик в нарядном и светлом пальто...

Он не выдержал, засмеялся, боднул ее руки: пусть уберет противное полотенце! Спросил, когда заделался в поручики тот, кто к ней ходит, почему пальто не светлое и вообще нет там никакого пальто, а вечно непонятно что. Она надулась, щелкнула его по носу и пробурчала: «Мал ты рассуждать», но тут же сама о свои слова споткнулась, сникла, прикусила губы и все к тому же носу прижалась отчаянным поцелуем. Обняла так нежно, будто решила укачать, запела тише — снова про шарф, барышню, улицу. Он слушал. Сестрица пахла табаком, мускусом, золой и морозом, хотя на площади еще не была. От огневицы*, возле которой они притулились на полу, в любимом закутке меж ней и стенкой, тянуло сытым бодрым теплом: печку щедро накормили щепками, но не настолько, чтобы жалила и щипалась.

Но вскоре то счастье пропало
На самый ужасный манер.
Поручику стряпка сказала,
Что «стал к ней ходить анжанер».

Сестрица продолжала нехитрый рассказ, а он сидел, положив голову ей на плечо, и глядел на рубашку, свесившую с кровати кружевной рукав-хвост. Была она словно неживой зверек, может, снежная змея. Не шевелилась,

* Здесь: маленькая печка.

зато глядела, безглазо, но пристально. Ждала его, напоминая: «Мое кружево не ис-стает, мое кружево не порвеш-шь». А он, слушая про шарф, барышню и улицу, вспоминал теперь отчего-то странный свой предутренний сон.

Снились ему сегодня трое, разные, и не одновременно, а один за другим. Сначала молодой мужчина в голубом хитоне — смуглый, длиннопрядый, с неряшливой русой бороденкой, — грустно и ласково взирал ясными серо-небесными глазами из-за тюремной решетки. Он не просил: «Освободи меня», но сердце плакало, и надрывалось, и стремилось прочь — за ключом в неизвестно чьем кармане. Но ключ не нашелся, и узник исчез вместе с темным своим казематом. Потом тощий, оборванный, желтолицый юноша с темным взором, не чародейским, но болезненным, горько плакал, сидя посреди серой улицы и обнимая издыхающую лошаденку; подле колен его лежал окровавленный топор. Он не просил: «Утешь меня», но ему, горемыке, хотелось отдать карманный молитвослов с перламутровым обрезом, тот, который принес на день ангела сестрицын кавалер. Но книжицы не было, и юноша пропал со своей улицей, и лошаденкой, и топором. И наконец величественный, прекрасный, посеребренный сединой и страданием мужчина лежал в изодранном зелено-золотом мундире, на окровавленной подушке, и сомкнуты были его тяжелые веки, и сложены на груди ухоженные ладони. Дышал он хрипло, со свистом и страшным бульканьем, потом и вовсе перестал. Ног ниже колен у него не было — сплошь ошметки, осколки, рванье. Он не про-

сил: «Воскреси меня», но сами хлынули из глаз горячие слезы, и захотелось упасть рядом, и лепетать заплетающимся языком: «Вернись, вернись!»... но залепетать не вышло, и мертвеца скрыло дымчатое марево тумана, и оборвался сон.

Поручик на скетинг-ринге
Увидел блондинку в окне.
Он к ней подошел и красотке
Хватил кулаком по спине.

Не раз он слышал эту песню: прицепилась к Москве хуже репьев, пели ее на улицах все, кому не лень. Но впервые он, стыдясь своего невежества, спросил осторожно у сестрицы, что такое скетинг-ринг, где это, что там делают. Она прервалась, вздохнула тихонько и ответила:

— Там богатые господа катаются на коньках с колесиками, быстро-быстро.

— Как на рысаках? Так, что ветер в ушах? — удивился он.

— Быстрее даже. И музыка там, и сладкую воду подают.

Он затрепетал; готов был уже выпалить, как это здорово — коньки с колесиками и сладкая вода, и вот бы ему тоже побывать там и попробовать, и хорошо бы с сестрицей, вместе, за руку... Но слова «богатые господа» предостерегающе зашипели на него, как сердитые гуси из крестьянской подворотни: «Не с-смей, не с-смей ее печалить, не с-смей напоминать». И он просто кивнул, пробормо-

тал так же тихо: «Здорово как...» — и покорно сел по-прежнему, чтобы сестрица могла расчесать его подсохшие локоны.

— Мне бы уйти, светик мой, — сказала она, орудуя уже деревянным гребешком с выжженными рябиновыми ягодами. — Ждут меня, вчера-то не свиделись...

Он предчувствовал, что она это скажет, поэтому оказался готов. Как ее не понять? Ответил быстро, шутиливо, чтобы спрятать обиду и печаль:

— Ходил к ней кудрявый пору-учик в нарядном и светлом пальто-о... — И сестрица, конечно же, дернула его за прядь, но затем продолжила причесывать медленно, бережно, склоняясь иногда, чтобы поцеловать то в щеку, то в ухо, горячо и благодарно.

— Я вернусь, — как заклинание, повторяла она. — Обязательно вернусь, скоро-скоро, принесу тебе что-нибудь...

Он молчал или отвечал невпопад: снова думал о сне, о троих. Жалко ему их было очень, пусть и не существовало никого, лишь вымыслы. Различимые такие, живые были у них лица; понятная такая, настоящая боль. Вот бы поговорить хоть с одним, с любимым. Наверное, и они бы его поняли, и пожалели бы, а может, даже бы и спасли. Хотя, может, наоборот, нахмурились бы с усталым пренебрежением: «От чего спасать тебя? От розового мыла? От белой рубашки? Что тебе не живется, раз все не просто так и не навсегда?» А он потупил бы глаза и, наверное, покраснел бы от стыда, потому что сам не знал ответа, ничего не знал, а думать много было страшно. Одно понимал: скорее бы

снова вечер. Скорее бы помыться уже целиком. Оттереться простым дегтярным мылом от розового запаха. Тем самым, которое для мертвецов. Смог бы он все это сказать троим из сна? Может быть. А они бы...

Всегда так на свете бывает.

Окончился этот роман.

Мужчина от страсти пылает...

— Сестрица, — тихо прервал он, и гребешок замер в волосах. — Ты иди. Иди. А я матушку подожду. В постели пока полежу, почитаю те твои приключения про остров...

Она поцеловала его снова и, обняв сзади за шею, повторила:

— Я скоро, скоро вернусь, и будет у нас какой-нибудь праздничный обед, вот.

Он потерялся подбородком о ее сухие бледные руки, и они соскользнули, забрали с собой тепло и покой. Сразу захотелось схватиться, удержать, выдохнуть жалобно: «Не оставляй...», но он смолчал. Сестрица, переодевшись потеплее и схватив заячий свой тулупчик, ускользнула из детской; только соломенная ее обережная куколка в ленточках и пятнистом платке осталась на подушке. Он же встал от огневицы, благодарно погладил остывающий ее бок и пошел к своей постели. Белая неживая змейка ждала.

Какой все-таки странный, но дивный сон — про троих. Кто же они, не ангелы ли? Замученные, страдающие,

но все же ангелы: так было от них горько, но светло; так хотелось и их спасти, и чтобы они помогли чем-нибудь. Вдруг сумеют? Может, стоит хотя бы попробовать умолить их. Пока заперта дверь. Пока змейка свисает до пола так безвольно и беззлобно.

Первым он подумал о юноше, обнимавшем лошаденку. Тот казался таким несчастным и слабым, что просить его о многом было бы бесчестно. С него хватило бы и самого маленького, способного принести недолгую, но настоящую радость желания. Почему не...

«Отведи нас с сестрицей на скетинг-ринг».

Вторым он вспомнил величавого мертвеца с раздробленными ногами — наверное, много у него было силы и власти, пока кто-то не позавидовал, не обозлился, не поранил. И лицо его — каменное, гордое, истерзанное — казалось теплым, участливым. Встретясь он в добром здравии, был бы, наверное, возмущен всем здесь. Всем-всем. И смог бы это поправить одним взмахом руки, одним приказом. Услышал бы...

«Забери нас и матушку из этого дома».

Последним вспомнил он молодого узника. Не преступником он был, точно нет: в ясных глазах — сострадание; изувеченные ладони в крови, но хитон чистый — точно не коснулся его ни один удар грязного кулака. Не походил он на того, кого пленили насильно; скорее сам ступил в темницу, просто чтобы обернуться потом к угнетателям, раскинуть руки и прошептать ласково-насмешливо: «Ну, вот он я, глядите на меня». Он светился силой и милостью. Он мог, наверное, выполнить любое желание, даже

большое-большое, способное счастливее сделать весь мир. Но сил на такое не было. И самое заветное желание оставалось одно, маленькое, подлое.

«Пожалуйста, пусть в комнату войдет матушка. Матушка, а за ней сестрица. И никто, никто больше, никто».

Пусть белую рубашку с кружевом надевать больше не придется. Никогда.